

**КУЛЬТУРА
РУССКОЙ ДИАСПОРЫ:
ЭМИГРАЦИЯ И МИФЫ**

ACTA UNIVERSITATIS TALLINNENSIS

Humaniora

РЕДКОЛЛЕГИЯ СЕРИИ

Юри Кивимяэ (Университет Торонто)

Тийна Кирсс (Таллиннский университет)

Даниэле Монтичелли (Таллиннский университет)

Рейн Рауд (Таллиннский университет)

Эрки Руссов (Таллиннский университет)

Томас Салуметс (Университет Британской Колумбии)

Анне Тамм (Флорентийский университет)

Григорий Утгоф (Таллиннский университет)

Корнелиус Хассельблатт (Университет Гронингена)

Таллиннский университет

**КУЛЬТУРА
РУССКОЙ ДИАСПОРЫ:
ЭМИГРАЦИЯ И МИФЫ**

СБОРНИК СТАТЕЙ

Редакторы-составители
А. Данилевский, С. Доценко

Издательство Таллиннского университета
Таллинн 2012



ACTA Universitatis Tallinnensis

Acta Universitatis Tallinnensis. Humaniora

Культура русской диаспоры: Эмиграция и мифы
Сборник статей

Оформление: Сирье Ратсо

Авторское право: Авторы статей, 2012

Авторское право (составление): А. Данилевский, С. Доценко, 2012

Авторское право: Издательство Таллиннского университета, 2012

ISSN 2228-026X

ISBN 978-9985-58-750-8

TLÜ Kirjastus

Narva mnt 29

10120 Tallinn

www.tlupress.com

Отпечатано в типографии Pakett

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие: Эмиграция как миф	7
<i>О. Р. Демидова (Санкт-Петербург)</i> Миф как феномен (само)сознания русской эмиграции	13
<i>В. К. Кантор (Москва)</i> Семен Франк и крушение кумиров: Переосмысление мифов русской интеллигенции в эмиграции первой волны	28
<i>Ф. П. Федоров (Даугавпилс)</i> Дон-Аминадо: Эмиграция как «парадокс и мечта»	50
<i>А. А. Данилевский (Таллин)</i> Размышления по поводу «Суда над русской эмиграцией» Дон-Аминадо	84
<i>П. М. Лавринец (Вильнюс)</i> Газетный текст в мифологизации биографии.....	110
<i>И. З. Белобровцева (Таллин)</i> Русский фашизм в зеркале русского большевизма: Натаска фашистских «крошек»	122
<i>Г. М. Пономарева (Таллин), Т. К. Шор (Тарту)</i> Мифоэлементы в мемуарах русских эмигрантов об Эстонии при изображении советских людей (1939–1941)	132

<i>Л. Ф. Луцевич (Варшава)</i>	
Символы и мифы мемуаристики: «Мой лунный друг» Зинаиды Гиппиус	153
<i>О. И. Лагашина (Таллин)</i>	
Марк Алданов и миф о русской идее	170
<i>С. Н. Доценко (Таллин)</i>	
Русско-еврейские шутки: Алексей Ремизов глазами Довида Кнута	188
<i>О. О. Дмитриева (Москва)</i>	
Культурный миф Санкт-Петербурга в восприятии российской эмиграции первой волны: Санкт-Петербург как утраченная Атлантида русской культуры	205
<i>Г. М. Утгоф (Таллин)</i>	
«Audiatur et altera pars»: К проблеме «Набоков и Лоуэлл»	219
<i>А. Н. Неминуций (Даугавпилс)</i>	
«Здесь свобода и коньяк»: Деструкция эмигрантского мифа у С. Довлатова	239
<i>П. Панайотов (Таллин)</i>	
Тема революции и эмиграции в персональном мифе Иштвана Баки	248

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЭМИГРАЦИЯ КАК МИФ

В романе «Братья Карамазовы» Ф. Достоевский высказал тайную мечту русского интеллигента: «Я хочу в Европу съездить <...> и ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище, но на самое, на самое дорогое кладбище, вот что! Дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я, знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними, – в то же время убежденный всем сердцем моим, что всё это давно уже кладбище, и никак не более».

Эмиграция в России (и из России) – это больше, чем просто перемещение в пространстве или культуре. Русская культура, как культура изоляционистского типа (вопреки декларации того же Ф. Достоевского), издавна осмысляла эмиграцию как явление в известной степени inferнальное, и жизнь за пределами своего отечества мыслилась как уход из мира, подобный смерти. И не так уж важно, стала ли эмиграция знаком политического протеста или следствием разнообразных житейских обстоятельств: эмиграция понималась как уход окончательный, бесповоротный. Не случайно проводы уезжающих скорее напоминали поминки, ведь из эмиграции – не возвращаются...

Бурные исторические события XX века привели к массовой эмиграции из России и после революции 1917 г., и во время 2-й мировой войны; да и потом, в 1960-80-е годы, поток эмигрантов хоть не был столь широким, все же оставался непрерывным. Прежде всего и более всего – в Европу. Так возникла неизвестная ранее культура – культура русской диаспоры. Разбренность (до недавнего времени) двух частей русской

культуры привела к тому, что обе они смотрели друг на друга через призму отрывочных и скудных слухов, легенд, мифов. Советская метрополия вообще отказывалась признавать факт существования эмиграции как явления, в свою очередь и русская диаспора видела в советской метрополии скорее странный исторический эксперимент, некий культурологический казус. Новая культурная ситуация нуждалась в осмыслении, и потому для многих эмигрантов именно миф стал универсальным средством понять свою историческую судьбу. Культура русской диаспоры была воистину мифологичной: ибо она и сама создавала мифы, и воспринималась в метрополии под знаком мифа. У нее не было единого творца – каждый творил миф сам, по своему разумению. В итоге взору исследователя этой культуры предстает пестрая картина как индивидуальных, так и коллективных мифов: о себе, о русской истории, о русской культуре. Культура русской диаспоры стала частью европейской культуры, а последняя – как воплощение инаковости – издавна воспринималась в России мифологически.

«Миф» (и производные от него термины: «мифологический», «мифологичность» и т. п.) в настоящем сборнике понимается в том смысле, который мы находим во многих работах Ю. М. Лотмана, посвященных так называемым «культурным мифам» нового времени. Например, в статье «Символика Петербурга» исследователь так объяснял причину возникновения «петербургского мифа» в русской культуре:

«Отсутствие истории вызвало бурный рост мифологии. Миф восполнял семиотическую пустоту, и ситуация искусственного города оказывалась исключительно мифогенной. Петербург в этом отношении исключительно типичен: история Петербурга неотделима от петербургской мифологии, причем слово «мифология» звучит в данном случае отнюдь не как метафора».

Это наблюдение помогает понять и причину «мифологизации» феномена русской эмиграции XX века: ведь несколько десятилетий отсутствовала достоверная научная история

русской эмиграции, а отсутствие (или недостаток) исторического знания неизбежно порождает культурные мифы, как спонтанные, так и преднамеренные.

Статьи, составившие настоящий сборник, и ставят своей целью научно описать этот разнообразный мир русской эмигрантской культуры. На конкретных примерах и фактах – вскрыть и выявить те мифологические по сути механизмы, в результате действия которых сформировался образ загадочной «русской Атлантиды» XX века.

Парадоксальным образом именно изучение мифов эмиграции, равно как и мифов об эмиграции, позволит открыть архипелаг той исторической реальности, в которой существовала русская европейская культура XX века.

С. Н. Доценко

**КУЛЬТУРА
РУССКОЙ ДИАСПОРЫ:
ЭМИГРАЦИЯ И МИФЫ**

МИФ КАК ФЕНОМЕН (САМО)СОЗНАНИЯ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

О. Р. Демидова
(Санкт-Петербург)

Миф в данной работе понимается как эстетическая реальность и в этом смысле типологически сопоставим с предложенной М. де Серто трактовкой мифа как «разрозненного речевого обихода, который кристаллизуется вокруг разрозненных практик данного общества и символически артикулирует эти практики»¹. Стремление к мифологизации есть одно из неотъемлемых свойств человеческого сознания в его функции отражения действительности, актуализирующееся как на индивидуальном уровне, так и на уровне сообщества в целом, поэтому представляется возможным говорить о некоей типологии механизмов формирования и законов функционирования мифа как феномена (само)сознания индивида и социума.

В самом общем виде можно утверждать, что «по социальной вертикали» миф формируется на трех уровнях: сообщества в целом, отдельных социальных групп, отдельных индивидов. Очевидно, что вектор движения двуедин: как сверху вниз, так и снизу вверх. Столь же очевидно, что движение происходит по известной спирали, каждый новый виток которой представляет собой качественно новый уровень (авто)мифотворчества.

«По горизонтали» миф выполняет ряд весьма существенных функций: аксиологическую (функцию утверждения собст-

¹ Серто М., де. Хозяйство письма // НЛО. 1997. № 28. С. 31; см. также предложенное В. Кантором понимание мифа как «воображаемого представления о реальности, которое воспринимается как реальность» (см. статью в настоящем сборнике: Кантор В. К. Семен Франк и крушение кумиров: Переосмысление мифов русской интеллигенции в эмиграции первой волны).

венных ценностей), телеологическую (определения значимых для сообщества/индивида целей) и основанную на них двуединую функцию объединения-разграничения. Иными словами, миф в значительной степени способствует самоидентификации индивида и/или сообщества и – в пределе – их выживанию как таковых. Последнее становится особенно значимым в ситуациях общественных катаклизмов разного рода (война, революция, смена власти, смена общественного уклада, экономический кризис, эмиграция и т. п.).

Структурообразующим основанием, своего рода осью любого мифа является шкала значимых для индивида/сообщества в зависимости от цели момента ценностей, т. е. мифотворчество не только онтологически обусловлено, но и телео- и аксиологически задано. Поскольку цели сообщества не есть величина постоянная, система ценностей, которая, с одной стороны, лежит в их основании, а с другой – в зависимости от них формируется, также есть величина динамическая, и, стало быть, мифотворчество представляет собой непрерывный процесс, каждый «момент» которого амбивалентен, являя собой завершение предшествующего этапа и начало последующего.

На временной шкале миф может быть направлен как в прошлое, так и в будущее². В первом случае идеализированное прошлое выступает как эталон, на который следует равняться сейчас; во втором – соответствующей обработке подвергается настоящее в расчете на восприятие потомков. Как правило, оба процесса протекают симультанно: эталон-прошлое задает эталон-настоящее, призванное служить эталоном в будущем.

² См., напр., весьма критические замечания Г. Кузнецовой, касающиеся мифологизации И. Шмелевым прежней России («Его потонувшая в пирогах и блинах Россия – ужасна») и творимого И. Фондаминским, Г. Федотовым и Ф. Степуном мифа «Нового града»: «Миф, которым живут трое взрослых, почти пожилых людей» (*Кузнецова Г. Грасский дневник. Рассказы. Оливковый сад. М., 1995. С 225, 271; записи от 23 окт. 1931 и 4 апр. 1933 гг.*). Впрочем, это не мешало ей самой творить собственный миф о Бунине.

Наконец, миф есть квазиреальность, в которой определенным образом находит отражение реальность как таковая. То есть миф всегда формируется и функционирует на границе реального и воображаемого (желаемого). Последнее выступает в роли аксиологического ориентира, некоего полагаемого должным горизонта, своего рода Идеала, недостижимого по определению, но задающего аксиологическую и определяющую ее телеологическую парадигмы как на уровне социума в целом, так и на индивидуальном уровне.

В приложении к русской эмиграции первой волны, само бытие которой было в известной мере квазибытием³, «фактор квази» удваивается, что, среди прочего, имеет результатом повышенный по сравнению с обычным уровень мифологизации.

Эмигрантский миф складывался параллельно с советским мифом. Смыслообразующей осью, на которую нанизывался каждый из них, была Россия и русская культура, однако представления о последних оказывались диаметрально противоположными, как диаметрально противоположными были стратегии выстраивания мифа. Эмигрантский миф, *основываясь* на этих представлениях, имел своей целью представить эмиграцию как хранилище унесенных с собой ценностей; советский, *отталкиваясь* от них, формировал образ строителей новой культуры вместо разрушенной прежней. Миф, таким образом, выступал как инструмент (само)утверждения сообщества посредством отрицания противника. Кроме того, в каждом случае формировался и своего рода контрмиф: в эмиграции –

³ «Квазибытие» в данном случае следует понимать в том смысле, что территориально и административно эмиграция существовала в ситуации *вне* между: *вне* границ, *вне* своей территории, *вне* родины, *между* чужими (и нередко чуждыми) народами, *вне* и *между* законодательными институтами и т. д., что было одним из определяющих факторов эмигрантского (само)сознания; накладываясь на представления об архетипической судьбе изгнанников, экстраполируемой эмигрантами на себя, и о *миссии эмиграции*, этот фактор выступал в роли мощнейшего катализатора мифологизации.

об СССР, в СССР – об эмиграции. При этом контрмиф далеко не всегда был резко негативным; достаточно вспомнить о неизменном интересе эмигрантов к СССР и росте просоветских настроений в 1930-е–1940-е годы, что привело часть эмиграции к сотрудничеству с советской властью в межвоенные десятилетия и вызвало к жизни феномен возвращенчества после 2-й мировой войны, или более или менее явно выраженную анти-советскую ориентацию советских граждан, одним из результатов которой стало формирование в советском пространстве мифа об эмиграции, противопоставлявшегося советской действительности в исключительно положительном смысле (впоследствии, при столкновении с *реальностью* эмигрантского бытия, это привело многих к жестокому разочарованию и жизненной трагедии, как любое крушение мифа, переживаемое экзистенциально).

Показательно, что в отдельных точках происходило неизбежное взаимоналожение, а иногда – прямое столкновение эмигрантского и советского мифов, в результате чего вполне закономерно возникали разного рода дискурсивные несостыковки («дискурсивный зазор»). На уровне индивидуальной репутации это приводило к тому, что один и тот же персонаж представлял в эмигрантском и советском восприятии в совершенно разных обликах: например, известный литературный критик Марк Слоним, имевший в эмигрантском сообществе репутацию «большевизана» по причине выраженной ориентации на код советской культуры (предпочтение новой орфографии, выраженные симпатии к советской литературе и предпочтение ее эмигрантской и т. п.), в советской печати именовался не иначе как «белогвардейцем» только потому, что оказался эмигрантом. Очень интересный пример такого зазора – запись Г. Кузнецовой от 19 марта 1931 г. о визите «господина и дамы» «прямо из Ленинграда», об их рассказах о жизни в СССР и, в частности, об А. Толстом, «который отлично живет, у него своя дача, прекрасная обстановка, он жалует здесь и х. “А мы и х

ж а л е е м <разрядка моя. – О. Д.>», – сказал И. А.»⁴. Заслуживает внимания эксплицированное в записи противопоставление «мы – они» и единство, обретаемое *своими* в отрицании *чужих*.

Однако в собственно эмигрантском пространстве эмигрантский миф не был единым: в каждом центре рассеяния, в каждой эмигрантской организации, в каждом поколении складывался свой миф, собирающий вокруг себя *своих* и отторгающий (отрицающий) *чужих*. Думается, отчасти по этой причине не удалась ни одна из попыток создать единую – по этническому, политическому, профессиональному, конфессиональному признаку – общеэмигрантскую организацию, хотя созданные на основе всех указанных признаков организации существовали в каждом центре⁵. Так же, как общеэмигрантский миф – по крайней мере, на уровне интенции – складывался в противовес советскому, внутриэмигрантские мифы образовывали свои оппозиции: столица – провинция, отцы – дети, общественники – эстеты; при этом внутри каждого из них образовывались свои, более мелкие оппозиции, основанные на различии идеологических, политических, эстетических и др. пристрастий⁶. Иными словами, объединялись не только и не столько в утверждении своих позиций, сколько в отрицании чужих.

⁴ Кузнецова Г. Указ. соч. С. 211, 212.

⁵ Один из примеров – попытка создать общеэмигрантский Союз писателей, оказавшийся мертворожденным детищем, при том, что в основных центрах рассеяния – Берлине, Париже, Праге, Белграде, Варшаве – достаточно успешно функционировали местные писательские союзы; см. также замечание Н. С. Трубецкого об эмигрантской прессе: «Из боязни создать рекламу чужой группировке каждая эмигрантская газета усиленно замалчивает все это <наличие и распространенность разного рода «течений» и «движений». – О. Д.> или дает заведомо неверные сведения. В результате читаешь эмигрантские газеты, а о том, что делается в эмиграции, не знаешь ничего» (цит. по: *Соболев А. В. О русской философии*. СПб., 2008. С. 486. Раздел «Публикации»: письмо к П. Н. Савицкому от 10 янв. 1938 г.).

⁶ Подробнее об указанных оппозициях см.: *Демидова О. Метаморфозы в изгнании: Литературный быт русского зарубежья*. СПб., 2003. С. 13–64.

Вместе с тем все многообразие малых и больших мифов вполне поддается определенной типологизации и в самом общем виде может быть сведено к двум инвариантам: миф-идеализация и миф-развенчание. И те, и другие, создававшиеся на бытийном уровне, получили воплощение в дневниковом, мемуарном и эпистолярном творчестве эмигрантов, причем одни и те же события и персонажи в текстах разных авторов выступают объектами как первого, так и второго. В связи с этим весьма показательна просьба Адамовича, выраженная в одном из писем 1947 г. – едва ли не самого сложного и до сих пор малоизученного периода в эмигрантской истории – к А. Бахраху: «Пожалуйста, рвите мои письма, а то когда-нибудь мои исследователи и комментаторы их напечатают – и будет скандал»⁷. Не менее показательны его же рассуждения о мемуарах А. Жида: «Он все свои желания и стремления хотел сделать всем открытыми, чтобы не рисоваться ни в чем решительно, чтобы его судили каким он был. <...> Если это так, то тут есть почти героическая откровенность. <...> Даже факт издания всяких писем и дневников Жида можно подвести под то же объяснение: хочется – значит незачем скрывать. <...> Но плохо, что “хотелось”. Толстому не хотелось»⁸.

Миф-идеализация естественным образом допускает подразделение на идеализацию действительности и идеализацию субъекта (подразделение, впрочем, в достаточной мере условное, поскольку во многих случаях они трудно отделимы друг от друга; один из наиболее известных примеров –

⁷ Архив русской и восточно-европейской истории и культуры (Бахметевский; далее – БАР) Колумбийского университета. Собр. А. В. Бахраха. Письмо от 1 авг. 1947 г.

⁸ Там же. Письмо от 8 марта 1952 г.; см. также его письмо Бахраху от 27 июня 1967 г. о положении дел на мюнхенской радиостанции «Свобода», в котором «знаковые» для русской литературы фигуры представлены в демифологизированном виде: «Если бы взяли на станцию Блока, то он в почете не был бы, а Льва Толстого выгнали бы после первого же скрипта. <...> Вот Пушкин мог бы процвести и даже стать во главе отдела» (Там же).

мемуарная диалогия И. Одоевцевой). Вариантами первого являются разного рода тексты, достраивавшиеся в эмиграции (петербургский, московский, уездный), и выстраивавшиеся на их основе собственно эмигрантские тексты (берлинский, парижский, монпарнасский, пражский и проч.) – со всем присущим им комплексом смыслов. Вариантами второго – многочисленные героизированные образы деятелей эмиграции: политических, общественных, деятелей культуры. По вполне понятным причинам, объектами идеализации становились персонажи, занимающие в ценностной иерархии различных эмигрантских кругов наиболее видное место: П. Милюков, А. Керенский, И. Фондаминский – как российские политические деятели, общественные деятели эмиграции и руководители крупных «столичных» периодических изданий, З. Гиппиус и Д. Мережковский – как известные в России авторы и духовные руководители известной части эмиграции, оппоненты Г. Адамович и В. Ходасевич – как ведущие эмигрантские литературные критики, Б. Поплавский – как символ поколения «эмигрантских сыновей». Пожалуй, единственным персонажем, выступающим в идеализированном варианте почти во всех мемуарных и проч. текстах эмигрантов и таким образом словно объединившим эмиграцию, стал И. Бунин – особенно после присуждения ему Нобелевской премии⁹.

Попытки нарушить установившуюся иерархию и пересмотреть сложившиеся стереотипы, представив персонаж в несколько отличном от общепринятого виде, не приветствовались, одним из свидетельств чего можно считать историю газетной публикации фрагмента из мемуарной книги В. Янов-

⁹ Здесь необходимо оговориться: не все мемуаристы создают *положительный во всех отношениях* образ Бунина, однако все они в той или иной степени и с разными «знаками» *учитывают* то обстоятельство, что Бунин был «дважды увенчан» – в России, получив статус академика, и в эмиграции, сделавшись нобелевским лауреатом. Оба обстоятельства были весьма значимы для формирования единого эмигрантского мифа, противопоставленного мифу советскому.

ского об Адамовиче. Фрагмент повествует о первой встрече молодого автора с маститым критиком и содержит размышления общего порядка о характере последнего и его роли в истории эмигрантской культуры: «Я должен был явиться в отель Адамовича к полудню какого-то дня... Пришел я точно, как было условлено, но Георгий Викторович еще спал. Пришлось его будить, что критику отчасти не понравилось. Вышел в халате какого-то изумительно желтого цвета. Догадываюсь теперь, что наша беседа в то утро для неумытого, непрерывно запахивающего канареечные полы халата Адамовича была глубоко неинтересна. <...> Адамович ошибался сплошь да рядом, капризничал, хвалил романы Алданова, ругал Сирина, высмеивал каждого, кто старался на свое “творчество” смотреть серьезно. Адамович ставил на карту виллы и драгоценности, проигрывал свои и чужие деньги, грешил сверхъестественно, уверял, что “литература прейдет, а дружба останется”, казался часто только ловким шаркуном, оппортунистом. И все же в решительную минуту мы его всегда видим в строю, на самых ответственных местах»¹⁰.

Публикация вызвала скандал по обе стороны океана и ряд негодующих откликов в печати. Яновскому ответили Бахрах, назвавший фрагмент «пасквилем», написанным «фатоватым высокомерно-презрительным тоном»; Е. Каннак, возмущенная тем, «как можно писать в таком бестактном, грубом тоне»; И. Одоевцева, которая сочла текст Яновского «чудовищной, бездарной карикатурой на Адамовича»¹¹. В результате Яновский

¹⁰ Впервые: Русская мысль. Париж, 1978. 30 марта; цит. по: Яновский В. Поля Елисейские: Книга памяти. Нью-Йорк, 1983. С. 107-108, 109.

¹¹ Там же. 1978. 20 апр.; Там же; Там же. 13 июля; возмущенные современники не обратили внимания ни на завершающую фразу второго пассажи («И все же в решительную минуту мы его всегда видим в строю, на самых ответственных местах»), ни на весьма важный с точки зрения авторской интенции, пассаж, расположенный между двумя цитированными: «Я пишу об Адамовиче, близком и чуждом мне, которого я любил и порицал, защищал и клеймил много десятилетий. Эта смесь разнородных чувств, одновременно уживающихся, не только

был «изгнан» как из парижской «Русской мысли», так и из нью-йоркского «Нового русского слова». А Одоевцева впоследствии косвенно ответила мемуаристу в своих воспоминаниях, трижды на протяжении нескольких страниц финальной части главы об Адамовиче «развенчав» созданные о нем мифы – правда, при этом не назвав имен их авторов, в том числе – и имени автора «мифа о проигранной вилле»¹².

В периоды спокойного развития событий оба инварианта мифа сосуществовали относительно мирно, однако обострение внешней ситуации неизменно вызывало некий «бум развенчаний». Соответственно, сюжеты, подлежащие мифологизации подобного рода, более всего связаны с войной, с послевоенным периодом, с печально известными фактами сотрудничества эмигрантов с советской властью, с истинным или мнимым коллаборантством и возвращенчеством. Мудрый Адамович в самый разгар «охоты на ведьм», развернувшейся в послевоенной Франции, писал из Парижа в Нью-Йорк бывшему сотруднику «Последних новостей» А. А. Полякову: «Люди сохраняют благородство только при тихой погоде»; «Ваш иронический вопрос о сменовеховстве¹³ для меня ясен в смысле Вашего отношения к нашим здешним настроениям. Спорить не стоит и не к чему. Но знаете, самое грустное во всем этом то, что если бы мы были в Нью-Йорке, то думали бы как Вы, а Вы, если

не исказит реального образа, но наоборот, надеюсь, поможет его восстановить» (Яновский В. Поля Елисейские: Книга памяти. С. 108).

¹² Ср.: «Вот из этого-то “рулеточного приключения”, как Адамович впоследствии окрестил нашу поездку в Монте-Карло, и вырос миф о проигранной вилле, разорившей, по одной версии, его мать, по другой – его тетку, и о его угрызениях совести»; «Адамович, как большинство писателей, после смерти вступил в полосу “временного забвения”, но это все же не помешало возникновению всевозможных мифов и легенд о нем»; «И вот теперь я чувствую, что настало время исполнить данное мной ему в тот вечер обещание и разрушить мифы, искажающие его образ» (Одоевцева И. Избранное. М., 1998. С. 739, 741, 743).

¹³ Г. Адамович, как и многие русские парижане, во II-й пол. 1940-х годов сотрудничал в просоветских «Русских новостях», поскольку в те годы это была единственная русская газета в Париже.

бы были в Париже, думали бы, как мы. <...> “Бытие определяет сознание”, т. е. не совсем бытие, а среда, воздух, окружение, – и сознание вовсе не так свободно, как считает себя»¹⁴.

Поводом для развенчания того или иного персонажа, вплоть до его подчеркнутой демонизации, становились большевизанство и/или сотрудничество с немцами (достаточно вспомнить «визит 12 февраля», с одной стороны, и «дела» Л. Червинской, Н. Берберовой и т. п.¹⁵ – с другой); причиной – стрем-

¹⁴ БАР. Собр. А. А. Полякова. Письма от 25 авг. и 20 июля 1945 г. соответственно.

¹⁵ Весьма показательны, что обвинения в коллаборантстве, как правило, распространялись людьми, находившимися в годы оккупации вне Парижа, в так называемой «свободной зоне» на юге Франции; об обстоятельствах «дела Берберовой» и позиции обвиняющей стороны см., напр., в ст.: Будницкий О. В. «Дело» Нины Берберовой // НЛЮ. 1999. № 39. С. 141-173; см. также письмо Берберовой М. Алданову от 20 сент. 1945 г. (копии – В. Зензинову, Г. Федотову, М. Вишняку, С. Прегель, М. Карповичу, М. Цетлину и А. Полякову): «Да, в 1940 г., вплоть до осени, т. е. три месяца, до разгрома библиотек и первых арестов, я, как и 9/10 французской <sic!> интеллигенции, считала возможным, в не слишком близком будущем, кооперацию с Германией. <...> Когда через год выяснилось, что все в нац.-соц. садизм и грубый империализм, отношение стало другим, и только тогда во Франции появилось «сопротивление» (резистанс). Так судила я, так судили многие вместе со мной, но отсюда было далеко до совершения каких-либо политических проступков: я не печаталась, не выступала на вечерах, не состояла членом “правого” союза писателей. Да не стоит и говорить об этом: все те, кто печатался, выступал или состоял в союзе – давно “вычищены”; они либо в тюрьме, либо в бегах, либо – под бойкотом. Когда-то милейший капитан; чета поэтов; автор “Няни” и “сам” Сургучев. Бедная Червинская в тюрьме по сей день!» (University of Illinois, Russian and east European centre, Sophie Pregel and Vadim Rudnev Collection. Vox 1. Folder Berberova); см. хранящееся в этом же собрании письмо М. Цетлин (Алданову?) от 2 дек. 1947 г.: «А. Ф. Керенский, который находится в переписке с Н. Н. Берберовой со времени начала ‘libération’ во Франции и который знает все, что о ней говорят ее враги вроде г. Полонского, утверждает следующее и готов это подтвердить лично когда угодно и кому угодно: 1) проявление недопустимое в отношении к Гитлеру у нее выразилось только в одном письме к В. В. Рудневу в самом начале оккупации Парижа, где она высказала предположение, что м. б. для уничтожения Сталина было бы полезно вторжение Гитлера в Россию. 2) Немецкое издательство в Париже во время оккупации предложило Тэффи, Зайцеву, ей и многим другим русским писателям переиздать их сочинения. Было устроено собрание этих писателей и это предложение было единогласно отвергнуто. 3) Лично столкнулась она с немцами два раза: немецкое гестапо сделало в их квартире обыск, а потом вызвало ее к себе для допроса. 4) Клеветой

ление «отмежеваться», отвести от себя возможные подозрения и/или обелить себя, свести старые счеты. Замечательный пример того, как (взаимо)действуют указанные механизмы, являет история создания так называемого «Дела на Почтамтской», автором которой был Г. Иванов, а «героем» – Г. Адамович.

Известно, что после войны Ивановы оказались в числе тех, кого подозревали и открыто обвиняли в коллаборантстве и на этом основании лишили помощи из Америки. Живший в это время в Нью-Йорке М. Алданов задал в одном из писем к Адамовичу прямой вопрос: может ли тот поручиться за Иванова; Адамович в ответном письме не считал возможным дать подобное ручательство. Правда, после встречи с Ивановым осенью 1946 г. написал Алданову, что Иванов «за последнее время изменился, во всех смыслах», подчеркнув, что «был бы искренне рад», если бы на основании этого письма «что-либо улучшилось бы» в отношении Алданова (читай: американской части диаспоры) в отношении в Иванову.

В следующем году вышла в свет написанная по-французски книга Адамовича «L'autre patrie», автор которой, среди прочего,

является слух, что у нее был салон, где она в особняке принимала немцев. Правдой является то, что она прятала у себя евреев и активно им помогала, тратила на это свои деньги и свои силы и обращалась к адвокатам, чтобы они защитили уже арестованных немцами друзей евреев. 5) Никогда от немцев не заработала ни одной копейки. Очень быстро отказалась от своих сомнений, выраженных в письме к В. В. Рудневу, и до сих пор считает эти сомнения своим грехом, в котором кается» (Там же); обвинения исходили от свойственника Алданова Я. Полонского и Андрея Седых и попали в Нью-Йорк из «свободной зоны», вызвав громкий скандал по обе стороны океана; несмотря на не вполне убедительную аргументацию обвинителей и свидетельства, опровергавшие их доводы, обвинение с Берберовой не снято до сих пор; о «деле» Червинской см.: Яновский В. Поля Елисейские: Книга памяти (по указат. имен); Два фрагмента из истории русских масонов-эмигрантов в Париже / Публ. и коммент. В. Хазана // Евреи России – иммигранты Франции. М.; Париж; Иерусалим, 2000. С. 332-345; о «визите 12 февраля» и реакции на него в Париже и в Нью-Йорке см. нашу публ.: Демидова О. После Парижа: Письма в Англию (из архива Б. И. Элькина) // Russian Studies: Ежеквартальник рус. филологии и культуры. СПб., 2001. Т. III. № 4. С. 184-241.

призывал не говорить «о пролитой крови» (пролитой в СССР). В 1950 г. Иванов опубликовал в парижском «Возрождении» статью «Конец Адамовича», в которой обвинил бывшего друга в большевизанстве; статья окончательно закрепила разрыв. Правда, весной 1954 г. Иванов писал Р. Гулю, что «помирился» с Адамовичем, «нежно и «навсегда»». Тем не менее, в 1955 г. он решает доверить Р. Гулю, «в действительно хорошие, дружеские верные руки маленькую рукопись, излагающую некоторые факты», а в февр. 1956 г. присылает ему «начало романа-фельетона», в котором обвиняет Адамовича в убийстве с целью ограбления, якобы совершенном весной 1923 г. в Петрограде в квартире на Почтамтской, где жил в то время Адамович. То есть отказ Адамовича снять с Иванова подозрение в коллаборанстве привел к тому, что последний обвинил бывшего друга сначала в симпатиях к советской власти, а затем – в уголовном преступлении тридцатилетней давности¹⁶.

Особый и заслуживающий отдельного разговора вопрос – о роли цензуры сообщества («общественного мнения», т. е. тех самых среды, воздуха и окружения, о которых писал Адамович) и обусловленной ею самоцензуры в процессе мифологизации. Здесь же необходимо лишь кратко отметить, что в силу предъявляемых внешней и внутренней цензурой требований как для идеализации, так и для развенчания используются практически одни и те же стратегии: педалирование положительной составляющей образа и умолчание о его негативной составляющей. И то, и другое могло осуществляться с помощью изъятия фрагмента из

¹⁶ Текст впервые опубликован Г. Поляком (см.: Королевский журнал. 1997. № 1; подробный анализ обстоятельств см. в: *Арьев А. Ю. Георгий Иванов: Последние годы и беды // Литература русского зарубежья (1920–1940-е годы): Взгляд из XXI века.* СПб., 2008. С. 58–69). См. также: Георгий Иванов – Ирина Одоевцева – Роман Гуль: Тройственный союз. Переписка 1953–1958 годов / Публ., сост., коммент. А. Ю. Арьева и С. Гуаньелли. СПб.: Издательский дом «Петрополис», 2010 (см. указат. имен).

бытийного контекста, перестановки акцентов, изменения ракурса и точки отсчета, умолчаний разного рода (т. е. представления бывшего «небывшим»). Самый радикальный способ последнего – физическое уничтожение текста, имеющее результатом своего рода превентивное стирание представляющихся «недостойными образа» фрагментов бытия из памяти сообщества. Уничтоженный, текст не стоит более между автором и сообществом с его коллективной памятью и, в силу этого, дает автору возможность всегда представлять перед современниками (и потомками!) в «парадном» виде. Вероятно, одним из самых откровенных заявлений в этом смысле следует считать известную фразу Бунина по поводу уничтожения собственных дневников 1925 г.: «Не хочу показываться в одном белье».

Однако к подобному способу решаются прибегнуть немногие, предпочитая более «мягкий» вариант авторского купирования текста при подготовке к публикации. Классический пример последнего являет собой «Грасский дневник» Кузнецовой, опубликованная версия которого есть результат тщательного отбора и жесткой самоцензуры¹⁷ (по сути дела – отбора и самоцензуры *второго порядка*, поскольку основанный на авторской цензуре первичный отбор материала для записей производился по ходу создания дневника). Весьма существенно при этом, что публикация сокращенного

¹⁷ См. ее письма к Л. Зурову от 22 дек. 1963 г., 20 мая и 16 авг. 1964 г., 22 апр. 1965 г. и 26 апр. 1967 г. соответственно: «Много я печатать не собираюсь (пока, по крайней мере, а м. б. и совсем), но то, что дает настоящий образ той жизни, мне хотелось бы оставить, как он был <sic!>», «Вам больше чем кому-либо другому известно, что не все было так идиллично, как в этих первых записях. <...> Я печатаю с таким выбором, что только злой глаз может найти что-либо предосудительное», «Скоро кончу печатать, хотя все просят продолжения. Как-то не хочется, пока жива. Ведь много было и тяжелого!», «Я проделала большую работу над “Гр.<асским> дневн.<иком>”, не желая ничего чрезмерно личного или задевающего кого-либо из живущих, печатать. <...> Я вообще буду держаться некой уравновешивающей линии. Думаю, что это благороднее во всех смыслах», «Конечно, я послала только часть и *очень вычищенную* <курсив везде мой. – О. Д.>» (ОР БФРЗ. Ф. 3. Л. Зуров. Оп. 1. Карт. 2. Ед. хр. 50. Переписка Л. Зурова с Г. Кузнецовой).

варианта была встречена в эмиграции с полным пониманием как идеализаторами-пуристами, так и записными «развенчивателями», о чем свидетельствуют отзывы столь разных лично и творчески Андрея Седых и В. Яновского (ср., соответственно: «Г. Н. Кузнецова при отборе записей проявила величайший такт»; «Галина Кузнецова, писательница деликатнейшая, в своем прелестном “Грасском журнале” <sic!> <...> ни о ком не отзывается резко или худо»¹⁸).

Очевидно, что публикации «отредактированных» подобным образом материалов, осуществляемые авторами, а после их смерти – современниками, потомками и многочисленными исследователями, как будто имеющие целью «максимально правдивое» воссоздание действительности, объективно способствуют лишь ее дальнейшей мифологизации. В результате складывается известный эпистемологический парадокс: предлагаемые на определенных условиях знания об эмиграции, не превращаясь в Знание о ней, становятся едва ли не собственной противоположностью.

¹⁸ Кузнецова Г. Грасский дневник. С. 8; Яновский В. Поля Елисейские: Книга памяти. С. 154.